

УДК 882.09

Н.А. МИХАЛЬЧУК

## И. БРОДСКИЙ О ПОЭТИЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ М. ЦВЕТАЕВОЙ

Парадоксально, но такой ни на кого не похожий и, казалось бы, значительно удаленный от предшествующей поэтической традиции поэт как Бродский не избегал говорить о влияниях, а наоборот, ценил их чрезвычайно высоко. «Человек – есть продукт его чтения», – утверждал поэт.

В предисловиях к сборникам стихов современников он отметил, с одной стороны, неповторимость поэта, с другой – всякий раз был занят поиском корней, предшественников, влияний. «На кого он похож?» – обычный вопрос читателя по поводу неизвестного поэта, – пишет Бродский в послесловии к подборке стихов Лосева, напечатанных в журнале «Эхо» в 1979 году. – Ни на кого, хотелось бы мне ответить; но чем больше я перечитываю эти стихи... тем чаще на память мне приходит один из самых замечательных поэтов Петербургской Плеяды – князь Петр Андреевич Вяземский. Та же сдержанность, та же приглушенность тона, то же достоинство».

В «Примечании к комментарию» Бродский рассматривает стихотворение Пастернака «У людей пред праздником уборка...» в контексте цветаевской поэзии, в частности, сопоставляя его с третьим стихотворением из цветаевского цикла «Магдалина». Автор статьи отмечает очевидную зависимость Пастернака от Цветаевой в рамках этого стихотворения. В пастернаковской интерпретации

сюжета о Магдалине Бродский обнаруживает «цветаевское отчаянье, цветаевское беспощадное мышление, цветаевскую жажду бесконечного» и, наконец, «цветаевскую дикцию». Но главным стержнем сопоставления становится цветаевская «центробежность», устремленность ввысь, очевидная у Пастернака и определяемая Бродским как «влияние сбывшейся души на душу только еще оформляющуюся». Здесь же Бродский напрямую ведет разговор о важности в поэзии преемственности: «Подлинный поэт не бежит влияний и преемственности, но зачастую лепечет их и всячески подчеркивает. Нет ничего физически (физиологически даже) более отрадного, чем повторять про себя или вслух чьи-либо строки». «Боязнь влияния, боязнь зависимости, – обобщает автор, – это боязнь дикаря, но не культуры, которая вся преемственность, вся – эхо».

Не единожды Бродский с благодарностью называл поэтов, способствовавших его поэтическому и личностному становлению. «Я вообще ценю все традиции» – отмечал он, хотя чаще других все-таки упоминал имена Одена, Фроста, а из русских поэтов – Цветаеву. В одной из бесед с С. Волковым поэт утверждает: «Ничто так нас не сформировало – меня, по крайней мере, как Фрост, Цветаева, Кавафис, Рильке, Ахматова, Пастернак» [3, с. 28].

И все-таки Марину Цветаеву в этом ряду Бродский выделял особо. В диалоге о Цветаевой, записанном Соломоном Волковым в 90-ом году, а также в трех адресованных ей статьях («Поэт и проза», «Об одном стихотворении», «Примечание к комментарию») он восхищается ее поэтической силой, открыто признавая глубокое влияние на него личности и творчества поэтессы. Цветаева для него – поэтический идеал: «... ничего из того, что я читал по-русски, на меня не производило того впечатления, какое произвела Марина... Когда прочел «Поэму горы», все стало на свои места». («Диалог с И. Бродским» Соломон Волков) В упомянутом диалоге Бродский называет Цветаеву первым русским поэтом 20 века, а в частной беседе с Ирмой Кудровой – самым крупным поэтом 20 столетия.

Еще более определенно поэт высказывается о влиянии цветаевской поэтики и мироощущения на свое творчество в интервью журналу «Paris Review»: «Благодаря Цветаевой изменилось не только мое представление о поэзии – изменился весь мой взгляд на мир, а это ведь и есть самое главное, да? С Цветаевой я чувствую особое родство: мне очень близка ее поэтика, ее стихотворная техника». Оценивая свою поэзию в сравнении с поэзией Цветаевой, Бродский бесспорно отдает пальму первенства ей: «Цветаева – единственный поэт, с которым я заранее отказываюсь соперничать» [2, с. 91].

Три статьи Бродского о Цветаевой были созданы в разное время. Первая появилась в 1979 году как предисловие к вышедшему в США двухтомнику цветаевской прозы («Поэт и проза»). Вторая – «Об одном стихотворении» – оказалась в качестве предисловия к пятитомнику поэзии Цветаевой, начавшему выходить также в Нью-Йорке в 1980 году. С третьей работой Бродский выступил на международной конференции в честь столетия Цветаевой в колледже Амхерста (штат Массачусетс, США). В 1997 году в серии «Литературоведение» вышла книга «Бродский о Цветаевой», в которую вошли все три эссе поэта, а также диалог о Цветаевой с Соломоном Волковым.

Работы Бродского о Цветаевой подчеркнута субъективны и экспрессивны. Слова «это ошеломляет» встречаются в них не раз. Однако гармонию цветаевской поэзии Бродский «поверяет», по мысли Ирмы Кудровой – автора предисловия к сборнику статей, «осознанием ее чуда». Глубоко погружаясь в предмет исследования, поэт выступает в качестве того самого идеального, «абсолютного» читателя, отсутствие которого так тяготило Цветаеву при жизни. Бродскому есть что сказать по поводу каждой строчки стихотворения «Новогоднее», каждого

«enjambement'a». Повышенно-внимательный, благодарный, со-радующийся читатель, он сближается в этом качестве, редко присущем творцу, опять-таки только с Цветаевой, оставившей после себя несравнимо-богатое наследие литературно-критических статей и эссе, посвященных поэтам. О близости между поэтами можно свидетельствовать уже на основании одного стиля «бродских» работ: о Цветаевой ее почитатель говорит с поистине цветаевской восторженностью и максимализмом. Его чуткое вслушивание в цветаевскую поэзию, высокую радость от ее стихов можно сравнить только с восприятием самой Цветаевой стихов Пастернака:

В седину – висок.  
 В колею – солдат,  
 – Небо! – морем в тебя окрашиваюсь.  
 Как на каждый слог –  
 Что на тайный взгляд  
 Оборачиваюсь,  
 Охорашиваюсь.

В перестрелку – скиф.  
 В христопляску – хлыст,  
 – Море! – небом в тебя отваживаюсь.  
 Как на каждый стих –  
 Что на тайный свист  
 Останавливаюсь,  
 Настораживаюсь.

В каждой строчке: стой!  
 В каждой точке – клад.  
 – Око! – светом в тебе расслаиваюсь,  
 Расхожусь. Тоской  
 На гитарный лад  
 Перестраиваюсь,  
 Перекраиваюсь... (М. Цветаева «В седину – висок...»)

Скрыто полемизируя с рядом исследователей, Бродский предлагает новое, свободное от шаблонов творческое прочтение поэзии Цветаевой. В его размышлениях явственно дает себя знать хорошая осведомленность автора в существующих литературоведческих оценках творчества поэтессы, а также в оценках коллег-писателей. Одним из «пунктов раздражения» – «высоты тембра» Цветаевой, именуемого в ряде критических высказываний «истерикой», Бродский касается особо. Поэт соглашается с А.А. Ахматовой: «Марина часто начинает стихотворение с верхнего «до». Но отрицательная характеристика в устах поэтессы трансформируется у него в восторженное одобрение. Истоки повышенной эмоциональности Цветаевой Бродский усматривает в трагичности самого «тембра голоса», создающей «ощущение подъема при любой длительности звучания» [1, с. 63], а также в высоте нравственных требований ко времени и к себе. Отвергая «земную правду», Цветаева предлагает собственный противоположный вариант – «правду небесную». Такая «кардинальная постановка вопроса... а ля Иов: или-или [3, с. 25] также порождает интенсивность, которая ценится Бродским чрезвычайно высоко. В беседе с Волковым он не без восхищения называет Цветаеву «фальцетом времени». Вместе с тем, поэт понимает, что «высота цветаевского тембра» – одна из причин, обусловивших разрыв «не

только с читательской, но и с писательской массой». («Об одном стихотворении») Кроме неодобренных характеристик Ахматовой, иллюстрацией к подобному утверждению могут послужить бесчисленные статьи Г.В. Адамовича в эмигрантской прессе, сводящего «сплошные восклицанья и вскрикивания» цветаевской поэзии исключительно к авторской вульгарности и дурновкусию.

Другой объект скрытой полемики Бродского с исследователями – истоки трагического мироощущения, преломленного в стихах Цветаевой. Цветаевский трагизм Бродский категорически обособляет от жизненного опыта. К позиции автора статей в этом вопросе наиболее близка биограф Виктория Швейцер: цветаевское отчаяние она объясняет душевным строем поэта, рожденным именно поэтом и не способным воспринимать мир так, как другие окружающие его люди.

Восстанавливая в своем восприятии художественную модель мира Цветаевой, Бродский в значительной мере абстрагируется от исторического контекста, биографии, психологического опыта поэтессы. «Климат» и «эпоху» он называет понятиями «сугубо периодическими», а «личный опыт» человека, по его мнению, всегда «перекрывается опытом инструмента» («Поэт и проза»). И если дух времени Цветаева, по Бродскому, инстинктивно ощутила и выразила, то от роли индивидуального опыта она и вовсе отказывается.

Трагизм Цветаевой, по мнению Бродского, проистекает «не из биографии: он был до. Биография с ним только совпала, на него – эхом – откликнулась». Главным истоком подобного мироощущения автор работ считает поэзию, с даром которой Цветаева родилась. Первичен, по его мнению, сам поэтический голос, изначально имеющий «трагический тембр», в то время как биография, даже личность – все призвано «следовать за голосом». По мысли Бродского, знаменательно отмежевание Цветаевой уже в юные годы себя, своей жизни от поэтического дара («Моим стихам, написанным так рано, что и не знала я, что я – поэт...»).

Внутренняя дискуссия с существующей оценкой поэзии Цветаевой предполагается нами и в следующем эпизоде. В эссе «Об одном стихотворении» Бродский неоднократно педантирует цветаевскую приверженность к приему отстранения.

Отстранением называется позиция художника, держащегося на определенной дистанции (эмоциональной) от выражаемого в произведении.

Отстранение как метод и тема стихотворения «Новогоднее» подробно анализируется Бродским в эссе. Истоки этого приема автор склонен усматривать в психологии. Приверженность поэтессы к различным видам камуфляжа объяснена, прежде всего, стремлением скрыть непереносимые чувства, «снизить эффект исповеди». Отстранение, которое в случае Цветаевой оказывается развитым до уровня инстинкта, Бродский считает «прямым следствием и выражением» отчаяния.

Отдельные реплики «Новогоднего», представляющие собой, по словам Бродского, почти «базарные, бабы выкрики», определяются им как «отстранение вниз». «Отстранение вниз» продиктовано «уже не просто стремлением скрыть свои чувства, но унижить себя – и унижением от оных чувств защититься». В этих репликах поэт усматривает некий «отказ от себя»: «Дескать, «это не я, это кто-то другой страдает. Я бы так не могла...» Именно психологическая и психическая непереносимость испытываемых чувств, утверждает Бродский, толкает поэта к снижению.

Прием интонационной маски, о котором он высказывается в связи с «Новогодним», блестяще работает в другом стихотворении Цветаевой – «Попытке ревности». И хотя в эссе о нем нет ни слова, в соответствии с мыслями Бродского и его терминологией, стихотворение целиком можно обозначить как «отстранение

вниз». В связи с этим примечательно предвзято-поверхностное суждение о нем А.А. Ахматовой: «Не люблю этот тон рыночной торговли», которое, по всей вероятности, Бродскому было известно (поэтов связывали близкие дружеские отношения). Таким образом, психологическое оправдание «базарных бабьих выкриков» «Новогоднего» в его статье вполне могло оказаться квалифицированным, подтвержденным собственным поэтическим опытом («отстранение вниз» – типичный прием поэзии Бродского) ответом Ахматовой.

Оценки Бродского творчества поэтессы масштабны. Своеобразие его подхода в том, что поэзию Цветаевой он рассматривает в контексте противопоставления всей русской поэзии и литературе в целом. В статьях о Цветаевой в процессе анализа Бродский отрывочно называет ряд отчуждающих поэтессу от «русской поэтической традиции» свойств. Черты, выдающие цветаевское «отщепенство», автором поясняются. Постараемся перечислить их, приводя в некоторую систему.

Исключительность Цветаевой в контексте русской поэзии определена Бродским, прежде всего, ее «кальвинизмом». Кальвинистом он считает человека, постоянно осуществляющего самосуд, предъявляющего к себе беспощадные нравственные требования. Пафос долга, личной ответственности – характерная черта «зрелой» Цветаевой. По Бродскому, «сила Цветаевой – именно в ее психологическом реализме, в этом ничем и никем не умиротворяемом голосе совести» («Об одном стихотворении»). Кальвинизм сближает Цветаеву с Достоевским и обособляет ее в русской поэзии. Бродскому импонирует «этическая позиция», которую занимала поэтесса независимо от смен режимов и исторических катаклизмов. В его интерпретации творчества Цветаевой заметно акцентирование универсальных, общечеловеческих ценностей.

Неприемлемость к реальной жизни, отчетливо звучащая в голосе поэтессы, по Бродскому, также ставит ее особняком в русской словесности. Поэт многократно акцентирует глобальный трагизм цветаевского мироощущения. Русской литературной традиции всегда была присуща тенденция «утешительства, оправдания (по возможности, на самом высоком уровне) действительности и миропорядка». Феномен Цветаевой Бродский связывает с ее категорическим отказом от существующей реальности, по стезе которого она «прошла дальше всех в русской и, похоже, мировой литературе». («Поэт и проза») [1, с. 33].

Уникальность Цветаевой аргументируется и тем, что, привнося в русскую поэзию отсутствовавшую ранее в ней семантику, она создала адекватную этой семантике «новую фонетику». «Новый звук» Цветаевой, утверждает автор «Эссе об одном стихотворении», несет «не просто новое содержание, но новый дух». По мысли Бродского, поэтессе удалось уловить трагедийность, заключенную в специфике самого языка. В результате, ее неприятие действительности оказывается продиктованным «не только этикой, но и эстетикой», самим строем и «звуком» русской речи [1, с. 46].

Приведенные утверждения напрямую связаны с абсолютизацией поэтом языка и его любимым тезисом о том, что язык ведет поэта, неоднократно развенчиваемым в литературоведении. Обожествление поэтом языка рядом исследователей было объяснено элементарным недостатком формального образования. Так или иначе, «язычество» Бродского не является предметом нашего исследования, потому в данном случае мы ограничимся простой констатацией высказываний поэта о Цветаевой.

Цветаеву, по Бродскому, дистанцирует от русских художников слова и ее исключительный лаконизм. Она занимает совершенно особое место в русской литературе, «оттородившись» от современников и предшественников «стеной,

сложенной из отброшенного лишнего» [1, с. 68]. Принцип исключения, который, по Бродскому, «есть первый крик поэзии», в творчестве Цветаевой канонизирован. Опуская само собой разумеющееся, зачастую она заменяет его своим излюбленным «тире», и тире это, утверждает Бродский, «многое зачеркивает в русской литературе» [1, с. 75].

Поэт отмечает предельную точность, приближенную к математической логике цветаевского творчества. Изображенное графически, оно явило бы собой «поднимающуюся под прямым углом прямую», благодаря постоянному стремлению Цветаевой «взять нотой выше, идеей выше». Выделена «почти патологическая потребность Цветаевой договаривать, додумывать, доводить вещи до логического конца». («Об одном стихотворении») Бродский говорит о «разрушительном рационализме» цветаевских произведений и «сильно развитом аналитическом аппарате» автора. В силу этого свойства произведения оказываются за пределами русской поэтической традиции, приближаясь к традиции литературы немецкой или, в целом, западной. Иллюстрирует данный тезис в работе цветаевское «Новогоднее», где, несмотря на то, что стихотворение – отклик на смерть боготворимого человека, «в плане чистой мысли происходит больше событий, чем в чисто стиховом плане». Выраженность «метафизического» уровня в данном контексте предполагает использование приема отстранения, о котором Бродский неоднократно говорит в связи с поэзией Цветаевой. Тем не менее цветаевский рационализм, по Бродскому, зачастую оказывается синонимом трагизма, т.к. обращение к разуму вместо предполагаемого утешения только увеличивает радиус трагедии.

Рационализм «Новогоднего» – не исключение в цветаевском творчестве, а характернейшая его черта. В оценках Бродского Цветаева неожиданно предстает интереснейшим мыслителем современности.

Таким образом, исследуя цветаевские отношения с русской поэтической традицией, Бродский называет ряд качеств, отмежевывающих от нее поэтессу. Среди них – бескомпромиссность и некомфортабельность, «кальвинизм» и рационализм, лаконизм и точность. Тем не менее, представляя творчество Цветаевой «новостью для словесности», Бродский не считает его таковой по отношению к «национальному сознанию». Цветаевская семантика, выпадая из традиции русской словесности, в то же время содержит в себе то отражение «национального сознания», которое в рамках русской литературы до нее еще не было возможно. Поэтому творчество Цветаевой расширяет представление о национальном. Разрывая нити, связующие Цветаеву с традициями русской литературы, Бродский многократно подчеркивает ее близость к фольклору и, в первую очередь, к традиции заговора и причитания.

Глубоко восхищаясь предметом исследования, Бродский выступает не только как подлинный ценитель изящной словесности и тот идеальный читатель, которого так не доставало Цветаевой при жизни. Прежде всего, он – художник единого с ней склада, находивший в ее поэтическом мире родственное своему. Субъективность оценок всегда так или иначе предполагает присутствие личности автора. Говоря о Цветаевой, поэт затрагивает те аспекты ее творчества, которые были значимы непосредственно для него. Ничего явно не сопоставляя, самым фактом акцентирования тех или иных качеств он намечает многочисленные скрытые параллели между своей поэзией и цветаевской. Словно бы облегчая работу будущим исследователям, Бродский милосердно «подсказывает» точки опоры.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Бродский И.* Поэт и проза // Бродский о Цветаевой. – М.: Изд-во Независимая газета, 1997.

2. Бродский Иосиф. Большая книга интервью. – М.: Изд-во Захаров, 2000. – 686 с.
3. **Волков С.** О Цветаевой: диалог с Иосифом Бродским // Бродский о Цветаевой. – М.: Изд-во Независимая газета, 1997.

### SUMMARY

*The author reveals the specific features of Tsvetaeva's poetry, and defines the peculiarities, which appeared determining for artistic world of Brodski.*